

# Лекция 4. Исторический дискурс и его сторонники

28 января 1976 г. Исторический дискурс и его сторонники, — Контристория борьбы рас. — Римская история и история библейская. — Революционный дискурс. — Зарождение и трансформации расизма. — Чистота расы и государственный расизм: нацистская и советская трансформации

Вы могли подумать, что в последний раз я принялся за историю и прославление расистского дискурса. Вы не совсем ошиблись, за одним исключением: я хотел прославить и исследовать вовсе не расистский дискурс, а, скорее, дискурс расовых войн и борьбы. Я думаю, что нужно сохранить выражение «расизм» или «расистский дискурс» применительно к тому, что было в своей основе только особой и локализованной формой большого дискурса о войне или о борьбе рас. По правде говоря, расистский дискурс был в любом случае только эпизодом, одной фазой, поворотом, повторением в конце XIX века дискурса о войне рас, повторением уже векового к этому времени дискурса в социобиологических терминах и, по существу, в интересах социального консерватизма, а иногда в целях колониального господства. Я это говорю с тем, чтобы выявить одновременно и связь, и различие между расистским дискурсом и дискурсом войны рас, я хотел прославить именно дискурс расовой войны. Прославить в том смысле, что я хотел бы вам показать, как, по крайней мере в течение некоторого времени, то есть вплоть до конца XIX века, вплоть до момента, когда он превратился в расистский дискурс, дискурс войны рас функционировал как контристория. Сегодня я хотел бы вам рассказать о функции контристории.

Мне кажется возможным сказать, вероятно, немного поспешно или схематично, но в целом по существу довольно верно, что исторический дискурс, дискурс историков, который состоял в рассказе об истории, долгое время оставался таким, каким он был, должно быть, в античности и еще в средневековье: он был приближен к ритуалам власти. Исторический дискурс можно было бы понять как род письменной или устной церемонии, целями которой в действительности должны быть оправдание власти и одновременно ее укрепление. В самом деле, традиционная функция истории, начиная с первых римских аналитиков<sup>1</sup> и позднее, вплоть до средневековья и, может быть, до XVII века и еще позже, состояла в том, чтобы говорить о праве власти и усиливать ее славу. Ее роль была двойной: с одной стороны, говоря об истории, истории королей, сильных мира сего, суверенов и об их победах (или, возможно, об их временных поражениях), имели в виду юридически прикрепить людей к власти, которая своим существованием подтверждает всю законность и историческую непрерывность, преемственность: привязать таким образом юридически людей к непрерывающейся власти и с помощью этой непрерывности. С другой стороны, их хотят ослепить крепостью ее славы, на деле едва поддерживаемой, ее высшими образцами и ее подвигами. Ярмо закона и блеск славы являются, как мне кажется, двумя гранями исторического дискурса, направленного на укрепление власти. История, так же как ритуалы, святыни, церемонии, легенды, является оператором, интенсификатором власти.

Можно отыскать двойную функцию исторического дискурса в трех традиционных его проявлениях в средние века. Представители его генеалогической ветви рассказывали о древности королевств, прославляли великих предков, отыскивали подвиги героических основателей империй и династий. Задача такой генеалогии состояла в доказательстве, что величие событий или людей прошлого может явиться порукой ценности настоящего, может превратить его ничтожность и будничность в нечто также героическое и справедливое. Генеалогическая линия истории, которую мы встречаем по существу в исторических рассказах о древних королевствах, о великих предках, предполагает повествование о древности права и тем самым доказательство непрерывного характера права суверена, а вследствие этого неискоренимости его силы и в настоящем; и наконец, она стремится к укреплению власти королей и владык всей той славой, которая им предшествовала. Великие короли создают таким образом право последующих суверенов и переносят свой блеск на ничтожных своих потомков. Вот что можно было бы назвать генеалогической функцией исторического рассказа.

История выполняет также функцию памяти, которую можно обнаружить не в рассказах о древности и не в надежде на воскрешение старых королей и героев, а, напротив, в летописях и хрониках, которые пишутся день за днем, год за годом, регистрируя ход самой истории. Постоянная фиксация исторических событий летописцами тоже служит укреплению власти. Она также представляет своеобразный ритуал власти: она показывает, что деяния суверенов и королей никогда не являются ничтожными, бесполезными или мелкими, никогда не оказываются недостойными повествования. Все, что они делают, может и заслуживает быть рассказано и об этом нужно постоянно помнить, значит, малейший факт из королевской жизни, поступок короля можно и нужно превратить в сияние и подвиг; в то же время каждое его решение записывается и служит законом для подчиненных, оно обязательно и для его преемников. Таким образом, история помнит и в силу этого она вписывает поступки в дискурс, который удерживает и закрепляет малейшие

факты в виде монумента, увековечивая их и делая из них своего рода безграничное настоящее. Наконец, третья функция истории, служащей для укрепления власти, заключается в том, что она вводит в обращение примеры для подражания. Пример — это живой или воскресший закон; он позволяет судить настоящее, подчинять его закону, более сильному, чем тот, который функционирует в настоящем. Пример — это своего рода слава, производящая закон, это закон, функционирующий в блеске имени. Именно увязывая закон и блеск имени, пример обретает силу и действует как точка опоры, как элемент, с помощью которых власть оказывается укрепленной. В целом мне кажется, что различные формы истории, практиковавшиеся одинаково успешно и в условиях римской цивилизации, и в средневековых обществах, имеют две функции: привязывать и ослеплять, подчинять, заставляя признать обязанности и показывая славу силы. Итак, эти две функции очень точно соответствуют двум аспектам власти, представленной в религиях, ритуалах, мифах, римских и вообще индоевропейских легендах. В индоевропейских представлениях о власти<sup>2</sup> всегда присутствуют два постоянно взаимосвязанных аспекта, два лика власти. С одной стороны, аспект юридический: власть привязывает с помощью принуждения, клятвы, обязательства, закона, и, с другой стороны, власть несет в себе магическую функцию, роль, магическую действенность: власть ослепляет, власть сковывает. Юпитер, в высшей степени представительный бог власти, бог первого ранга, выполняющий первейшую роль в индоевропейской тройственности, одновременно выступает и как бог связи, и как бог молнии. Итак, я думаю, что история, какой она была еще в средние века, с ее изысканиями в области древности, с ведущимися изо дня в день хрониками, с ее собранием запущенных в обращение примеров, постоянно порождает представление о власти, которое является не просто ее образом, а процедурой ее укрепления. История — это дискурс власти, дискурс обязанностей, с помощью которых власть подчиняет; это также дискурс сияния, с его помощью власть ослепляет, терроризирует, удерживает. Короче, связывая и удерживая, власть оказывается создателем и гарантом порядка; история, определенно, представляет дискурс, с помощью которого две обеспечивающие порядок функции укрепляются и становятся более действенными. Следовательно, вообще можно сказать, что история вплоть даже до наших времен была историей верховной власти, историей, разворачивающейся в измерении власти и в зависимости от нее. Это история «юпитеровская». В этом смысле история, существовавшая в средние века, была еще прямым продолжением римской истории, как ее излагали римляне, истории Тита Ливия<sup>3</sup> или первых летописцев. И не только из-за самой формы рассказа, не только по причине того, что историки средних веков никогда не видели различий, прерывности, разрывов между римской историей и своей, рассказываемой ими. Связь между историей, создававшейся в средние века, и историей, существовавшей в римском обществе, была еще глубже, поскольку исторический рассказ римлян, как и история в средние века, имел определенную политическую функцию, он служил именно ритуалом укрепления суверенной власти.

Такова, я думаю, хотя и очерченная грубо, основа, отправляясь от которой можно пытаться установить и охарактеризовать новую форму дискурса, который появляется как раз в самом конце средневековья, по правде говоря, даже в XVI и в начале XVII века. Исторический дискурс перестает быть дискурсом верховной власти, даже дискурсом расы, а становится дискурсом рас, их столкновения, борьбы, захватывающей нации и законы. В силу этого, я думаю, история становится абсолютно противоположна истории суверенитета, какой она была до того. Это первая познанная Западом неримская, антиримская история. Почему в

сопоставлении с тем ритуалом суверенитета, о котором я вам только что говорил, она является неримской историей и даже контристорией? В силу определенных причин, которые, я думаю, легко выявляются. Прежде всего потому, что в этой истории рас и постоянного их столкновения, не обращая внимания на законы, проявляется или, скорее, исчезает скрытое отождествление народа с его монархом, нации с ее сувереном, которое установила история верховной власти, история властей. Отныне в новом типе дискурса и исторической практики власть больше не является связующим началом единства города, нации, государства. Власть получает особую функцию: она не связывает, она служит. И постулат, что история сильных мира сего наверняка включает историю маленьких людей, постулат, что история сильных развивается вместе с историей слабых, постепенно заменяется принципом гетерогенности: история одних не является историей других. Теперь обнаруживается или, во всяком случае, утверждается, что история побежденных после битвы при Гастингсе саксов не является историей победивших в той же битве нормандцев. Становится возможным понять, что победа одних оборачивается поражением других. Поэтому победу франков и Хлодвига, наоборот, можно интерпретировать как поражение галло-римлян, их закабаление и рабство. Все, что с точки зрения власти является правом, законом или обязанностью, новый дискурс способен, если встать на другую сторону, представить как злоупотребление, насилие, вымогательство. В результате крупные земельные владения феодалов и требуемые ими повинности могут предстать и могут быть разоблачены как акты насилия, конфискаций, грабежа, военной дани, насильно взимаемой с подчиненных народов. Вследствие этого великая форма всеобщего долга, силу которого укрепляла история, воспевая славу суверена, разрушается и закон, напротив, воспринимают как двуликую действительность: триумф одних оказывается подчинением других. История, которая оборачивается в таком случае историей борьбы рас, олицетворяет контристорию. Но я думаю, что она является ею также в силу другого и еще более важного обстоятельства. Действительно, контристория не только способствует разложению единства суверенного принуждающего закона, она сверх того разрушает непрерывающийся свет славы. Она показывает, что свет славы — это знаменитое орудие власти — не только укрепляет, солидаризирует, сплачивает все общество и тем самым поддерживает порядок, он разделяет, освещает одну часть общества, а другую его часть оставляет в тени или даже в ночи. Родившаяся вместе с идеей борьбы рас контристория хочет говорить именно об этой теневой стороне, отталкиваясь от нее. Она хочет быть дискурсом тех, кто не имеет славы, или тех, кто ее потерял и находится, может быть временно, но, несомненно, надолго, в области темноты и безмолвия. Это превращает указанный дискурс — в отличие от непрерывной песни, увековечивающей власть, укрепляющей ее указанием на ее древность и генеалогию, — во внезапно вторгшуюся речь, в воззвание: «Мы не имеем за собой непрерывности, великой и славной генеалогии, с помощью которой закон и власть свидетельствуют о своих силе и блеске. Мы находимся в тени, мы не имеем прав и славы, и поэтому мы берем слово и начинаем рассказывать нашу историю». Такая речь приближает этот тип дискурса не к поиску великой непрерывающейся, издавна существующей юриспруденции власти, а к своего рода пророческому разрыву. Поэтому новый дискурс оказывается близок к некоторым эпическим или мифическим, или религиозным формам, в которых, вместо рассказов о незапятнанной и незатуманенной славе суверена, говорится, напротив, о несчастье предков, о высылках и рабстве. Он ориентирован не столько на победы, сколько на поражения, вследствие которых люди надолго гибнут, так что им остается ждать земли обетованной или осуществления старых обещаний, которые на деле

восстановят и прежние права, и потерянную славу.

Вместе с новым дискурсом войны рас вырисовывается нечто, что приближается скорее к мифически-религиозной истории евреев, чем к политико-легендарной истории римлян. Мы оказываемся скорее на стороне Библии, чем на стороне Тита Ливия, скорее ближе к еврейско-библейской позиции, чем к позиции летописца, который день за днем ведет рассказ об истории и непрерывающейся славе власти. Я думаю, не нужно вообще никогда забывать, что Библия, начиная по меньшей мере со второй половины средних веков, была тем великим творением, в котором соединялись религиозные, моральные, политические возражения против власти королей и деспотизма церкви. Библия, как, впрочем, и частые обращения к библейским текстам, в большинстве случаев оказывалась возражением, критикой, дискурсом оппозиции. Иерусалим в средние века всегда служил для противостояния всем воскрешениям Вавилона; он всегда служил оружием против вечного Рима, Рима Цезарей, проливавшего на аренах кровь праведников. В средние века Иерусалим означал религиозное и политическое противостояние. Библия была оружием обездоленных и восставших, она была словом, которое подымается против закона и славы: против несправедливого закона королей и против безупречной славы Церкви. Поэтому мне не кажется удивительным, что в конце средневековья, в эпоху Реформации и Английской буржуазной революции, возник тип истории, в точности противоположной истории суверенов и королей — римской истории, — и что новая история опиралась на библейскую форму великого пророчества и обещания. Таким образом, появившийся в тот момент исторический дискурс может рассматриваться как контристория, противоположная римской истории, в силу следующего соображения: функция памяти в новом историческом дискурсе совершенно изменила смысл. В истории римского типа память должна была по существу служить для увековечения определенных событий, то есть служить поддержкой закона и орудием постоянного усиления сияния существующей власти. Напротив, вновь появившаяся история хотела обнажить нечто, что было спрятано и спрятано не только потому, что им пренебрегали, но и потому, что его тщательно, обдуманно и злобно извращали и маскировали. По сути, новая история хотела показать, что власть, всемогущие лица, короли, законы скрывали факт своего происхождения из случайностей и несправедливости баталий. Поэтому Вильгельм Завоеватель на деле не желал носить имя Завоевателя, ибо хотел всех заставить верить в то, что права, которыми он пользовался, акты насилия, которые он осуществил в отношении Англии, не были правами победителя. Он хотел казаться преемником законной династии, скрыть свое звание победителя, совсем как Хлодвиг, который прогуливался с грамотой, чтобы уверить всех, что своей королевской властью он обязан признанию некоего римского Цезаря. Несправедливые и представляющие интересы лишь отдельных слоев короли пытались заставить всех ценить себя, представляя себя защитниками блага всех; они хотели, чтобы говорили об их победах, но не хотели, чтобы стало известно, что их победы были поражением других, они предпочитали говорить о «нашем поражении». Таким образом, история выполнит свою роль, если покажет, что законы обманывают, короли маскируются, власть распространяет иллюзии, а историки лгут. Такая история была бы не историей непрерывности, а историей разрывов, разоблачения тайн, обнаружения хитрости, нового присвоения извращенного или спрятанного знания. Она была бы расшифровкой скрытой за семью печатями истины.

Наконец, я думаю, что история борьбы рас, появившаяся в XVI–XVII веках, является контристорией и в другом, одновременно более простом и элементарном, но и более значительном смысле. Дело в том, что далеко не будучи ритуалом, внутренне присущим практике, росту, усилению власти, история теперь оказывается не только критикой власти, но и атакой, и требованием. Власть несправедлива не потому, что она не следует своим самым высоким образцам, а просто потому, что она не наша. В этом смысле можно сказать, что новая история, как и старая, много говорит о праве в перипетиях времен. Но речь в ней идет не о том, чтобы основать величие и преемственность власти, всегда сохранявшей свои права, или показать, что власть находится там, где она есть, и что она всегда была там, где она теперь существует. Речь идет о том, чтобы потребовать непризнанных прав, то есть объявить войну с требованием прав. Исторический дискурс римского типа умиротворяет общество, оправдывает власть, устанавливает порядок — или порядок трех сословий, — который конституирует общество. Напротив, дискурс, о котором я вам говорю, тот, который развился в конце XVI века и который можно назвать историческим дискурсом библейского типа, разделяет общество и говорит о справедливом праве только затем, чтобы объявить войну законам.

Я хотел бы теперь подвести итог и сформулировать определенный вывод. Нельзя ли сказать, что вплоть до конца средневековья и, может быть, еще позже существовала история — исторический дискурс и историческая практика, — которая была одним из крупных дискурсивных ритуалов верховной власти, последняя с его помощью появилась и конституировалась как унитарная, законная, непрерывная и неопровержимая власть? Этой истории стала противостоять другая: контристория, история мрачного рабства, упадка, история пророчества и обета, история тайного знания, которое следовало вновь найти и разгадать, наконец, история обоюдного требования прав и войны. История римского типа была в основном вписана в индоевропейскую систему представления о власти и ее функционировании; она, несомненно, была связана с организацией трех сословий, выше которых находился суверен, и, следовательно, она была тесно связана с некоторой областью объектов и некоторым типом персонажей — с легендами о героях и королях, потому что она была двойным, магическим и юридическим, дискурсом о верховной власти. Такая история римского типа и с индоевропейскими функциями оказалась потеснена историей библейского, почти древнееврейского типа, которая с конца средневековья была дискурсом восстания и пророчества, знанием о необходимости резко поменять порядок вещей и призыв к этому. Новый дискурс связан уже не с тройственной социальной структурой, как исторический дискурс индоевропейских обществ, а с бинарным восприятием деления общества и людей: с одной стороны — одни, с другой — другие, неправые и праведники, хозяева и зависимые от них, богатые и бедные, могущественные и бессильные, захватчики земель и те, кто дрожит перед ними, деспоты и недовольный народ, те кто признает существующий закон, и те, кто стремится к будущему. Именно в пору средневековья Петрарка поставил вопрос, который я нахожу удивительным и, во всяком случае, глубоким.

Он сказал: «Есть ли что-нибудь в истории, что не служило бы к восхвалению Рима?»<sup>4</sup> Я думаю, что одним этим вопросом он сразу обрисовал историю в той форме, в какой она действительно существовала не только в римском, но и в том средневековом обществе, к которому принадлежал сам Петрарка. Через несколько веков после Петрарки появилась,

родилась на Западе история, которая заключала в себе нечто иное, чем восхваление Рима, история, в которой речь, напротив, шла о том, чтобы разоблачить Рим как новый Вавилон, и о том, чтобы потребовать от Рима утраченные права Иерусалима. Родилась совсем другая форма истории, совсем другой исторический дискурс. Можно было бы сказать, что эта история является началом конца индоевропейской историчности, под этим я имею в виду определенный индоевропейский способ говорить об истории и воспринимать ее. В крайнем случае можно было бы сказать, что, когда рождается значительный дискурс об истории борьбы рас, античность заканчивается — под античностью я имею в виду то сознание непрерывности, которое переняло от античности средневековье. Средневековье, наверняка, игнорировало то, что оно было средневековьем. Но оно также игнорировало, если можно так сказать, то, что оно не было больше античностью. Рим еще присутствовал, функционировал в форме постоянного и актуального настоящего внутри средневековья. Рим еще воспринимался разделенным на тысячу дорог, пересекавших Европу, но все эти дороги считались ведущими в Рим. Не нужно забывать, что все политические, национальные (или преднациональные) истории, тогда писавшиеся, всегда брали в качестве отправной точки определенный троянский миф. Все европейские нации вели свое происхождение от времени падения Трои. Это означало, что все европейские нации, государства, все монархии претендовали быть сестрами Рима. Именно поэтому французская монархия считалась происходящей от Франка, английская монархия — от некоего Брута. Каждая из больших династий находила себе из числа сыновей Приама предков, которые обеспечивали ей генеалогическую родственную связь с древним Римом. И еще в XV веке султан Константинополя писал венецианскому дожу: «Но почему мы должны вести войну, ведь мы братья? Турки, как хорошо известно, вышли из пламени Трои и являются также потомками Приама. Турки, как хорошо известно, являются потомками Турка, сына Приама, как Эней и как Франк.». Рим, стало быть, присутствует в сердцевине исторического сознания средневековья, и нет разрыва между Римом и теми бесчисленными королевствами, которые появились начиная с V–VI веков.

Таким образом, дискурс борьбы рас привел к разрыву, который выпроводил в другой мир то, что с тех пор стало восприниматься как античность: так появилось до того непризнанное сознание разрыва. Европейское сознание оказывается обращено на события, которые ранее воспринимались только как смутные превратности, глубоко не задевавшие великого единства, великой законности, великой ослепляющей силы Рима. Вырисовываются события, составлявшие подлинное начало европейских государств — начало кровавое, связанное с завоеванием: это нашествие франков, нашествия нормандцев. Появляется нечто, что индивидуализируется как «средние века» (и нужно ждать начала XVIII века, чтобы историческое сознание выделило тот феномен, который будет назван феодализмом). Появляются новые персонажи — франки, галлы, кельты; появляются также более масштабные персонажи — люди севера и юга; появляются господствующие и подчиненные, победители и побежденные. Именно они теперь попадают в центр исторического дискурса и их взаимоотношения составляют отныне главную точку отсчета. У Европы появляются воспоминания и предки, генеалогия которых она до того никогда не разрабатывала. Она принимает бинарное деление, которое до того игнорировала. Одновременно с помощью дискурса о борьбе рас и призыва к ее воскрешению конституируется совсем другое историческое сознание. В таком случае можно отождествить появление дискурсов о войне рас с совершенно другой организацией времени в сознании, практике и в самой политике

Европы. Исходя из этого я хотел бы сделать некоторые замечания.

Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что ошибочно было бы рассматривать дискурс борьбы рас принадлежащим целиком и на законном основании угнетенным слоям; ошибочно считать, что он был по существу, по крайней мере вначале, дискурсом поработанных, дискурсом народа, историей, затребованной народом и говорящей через народ. Действительно, нужно сейчас хорошо понять, что этот дискурс был наделен большой силой к распространению, большой способностью к метаморфозам, своего рода стратегической поливалентностью. Правда, его можно было наблюдать, может быть, прежде всего в эсхатологических темах или в мифах, которые сопровождали народные движения во второй половине средних веков. Но нужно заметить, что он очень скоро — тотчас — обнаружится в форме исторического познания, популярного романа или космобиологических спекуляций. Он долго был дискурсом оппозиции, различных групп оппозиции; он был, переходя очень быстро из одного состояния в другое, инструментом критики и борьбы против власти, будучи разделен, однако, между разными врагами этой власти или различными формами оппозиции к ней. Мы действительно видим, как он в различных формах обслуживает радикальную английскую мысль в период революции XVII века, а несколько лет спустя в едва измененном виде его будет использовать французская аристократическая реакция в борьбе против власти Людовика XIV. В начале XIX века он наверняка повлиял на постреволюционный проект — создать, наконец, историю, главным субъектом которой был бы народ.<sup>5</sup> Но несколько лет спустя вы его увидите на службе у тех, кто порочил колонизованные подрасы. Итак, ясна мобильность, поливалентность этого дискурса: его появление в конце средневековья не наложило на него достаточно заметного отпечатка, в силу чего он мог бы политически функционировать только в одном направлении.

Во-вторых, ясно, что в дискурсе, где стоит вопрос о войне рас и где термин «раса» появляется довольно рано, само слово «раса» не привязано к устойчивому биологическому смыслу. Между тем это слово не является совершенно неопределенным. В конечном счете оно обозначает некоторое историко-политическое расслоение, конечно, широкое и относительно устойчивое. Можно сказать, что в этом дискурсе действительно речь идет о двух расах, так как историю конструируют из двух групп, которые происходят из разных регионов; двух групп, которые не имеют, по крайней мере вначале, одного и того же языка и часто общей религии; двух групп, которые сформировали единство и политическое целое только ценой войн, нашествий, завоеваний, баталий, побед и поражений, короче, насилия; тут мы видим связь, установленную только путем войны. Наконец, можно сказать, что есть две расы, если имеются две группы, которые, несмотря на их совместное проживание, не смешались по причине различий, асимметрий, преград, имеющих основу в привилегиях, обычаях и правах, в распределении богатств и в способе осуществления власти. В-третьих, следует считать признанным существование двух больших морфологии, двух систем принципов, двух политических функций исторического дискурса. С одной стороны, римская история верховной власти, с другой — библейская история порабощения и изгнаний. Я не думаю, что различие между этими двумя историями было бы в точности различием между официальным дискурсом и, скажем, дискурсом неотесанным<sup>[11]</sup>, дискурсом, столь связанным с политическими императивами, что он оказывается не способным произвести знание. Фактически история, которая ставит перед собой задачи раскрыть тайны власти и ее демистифицировать, вырабатывает по меньшей мере столько же знания, сколько его

вырабатывает история, стремящаяся укрепить великую непрерывающуюся законность власти. Я бы даже сказал, что большие разблокировки, то есть самые плодотворные моменты для конституирования исторического знания в Европе, почти можно приурочить к периодам своего рода взаимодействия, столкновения между историей верховной власти и историей войны рас: например, это происходило в начале XVII века в Англии, когда дискурс, повествующий о нашествиях и большой несправедливости нормандцев в борьбе с саксами, стал воздействовать на совсем другую историческую работу, которую юристы, монархически настроенные, были склонны предпринять, чтобы доказать непрерывающуюся историю королевской власти в Англии. Подобное переkreщивание двух исторических типов знания привело к бурному росту всего знания. Таким же образом, когда в конце XVII и в начале XVIII века французская знать стала изображать свою генеалогию не в виде непрерывной линии, а, напротив, в форме разрыва, утраты некогда приобретенных привилегий, которые она желала теперь возратить, все исторические изыскания в этом духе переплетались с историографией французской монархии, которую конституировал, заставил конституировать Людовик XIV; из этого возникло еще одно необыкновенное расширение исторического знания. И в начале XIX века можно отметить плодотворный момент: тогда дискурс народной истории, порабощения и закабаления народов, история галлов и франков, крестьян и третьего сословия, начал переплетаться с юридической историей режимов власти. Итак, можно зафиксировать, что в результате столкновения между историей верховной власти и историей борьбы рас происходит их постоянное взаимодействие и расширение области знания, его содержания. И последнее: по причине этих взаимодействий или несмотря на них, я хочу встать именно на сторону библейской истории, во всяком случае, на стороне истории-требования, истории-восстания находится революционный дискурс — дискурс Англии XVII века и Франции и Европы — XIX века. Революционный дискурс, который пронизывает всю политику и всю западную историю вот уже более двух веков и который вдобавок по своему происхождению и содержанию в конечном счете очень загадочен, я думаю, не может быть отделен от появления и существования практики контр истории. В конце концов, что бы могли означать, чем бы могли быть революционная идея и революционный проект без обнаружения асимметрий, нарушений равновесия, несправедливости и насилий, которые существуют вопреки законному порядку, в его глубине, с его помощью и благодаря ему? Чем были бы идея, практика, чем был бы проект революции без рассмотрения действительной войны, которая происходила и продолжает происходить в обществе, в то время как молчаливый порядок власти направлен на то, чтобы ее задушить и замаскировать? Чем были бы практика, проект и дискурс революции без воли вновь оживить эту войну с помощью точного исторического знания и без использования его в качестве оружия и тактического элемента в ходе действительно ведущейся войны? Что могли бы выразить революционный проект и соответствующий дискурс без некоторого видения конечного переворота в соотношении сил и определенного сдвига в использовании власти?

Содержание революционного дискурса, который не переставал воздействовать на Европу, по крайней мере с конца XVIII века, не сводилось только к расшифровке асимметрий, к призывам возобновить и оживить социальную войну, но это все же была его важная составная, именно она была сформирована, определена, утверждена и организована в той большой контр истории, которая с конца средневековья говорила о борьбе рас. Не нужно в итоге забывать, что Маркс в конце жизни, в 1882 г., писал Энгельсу: «В отношении нашей

классовой борьбы ты хорошо знаешь, где мы ее нашли: мы нашли ее у французских историков, когда они говорили о борьбе рас».6 История революционного проекта и революционной практики, я думаю, неотделима от контристории, которая порвала с индоевропейской формой исторической практики, ориентированной на верховную власть; она неотделима от появления контристории, то есть истории рас, и от роли, сыгранной ею на Западе. Одним словом, можно было бы сказать, что в конце средневековья, в XVII и XVIII веках, мы ушли, начали уходить от общества, историческое сознание которого не вышло еще за рамки римского образца, то есть было сосредоточено на ритуалах верховной власти и ее мифах, и затем, что мы вошли в общество, скажем, современного типа (так как у нас нет других слов, а слово «современный» явно бессодержательно), общество, историческое сознание которого ориентировано не на верховную власть и проблему ее основания, а на революцию, ее обещания и пророчество будущего освобождения.

В свете сказанного, я думаю, понятно, как и почему этот дискурс смог стать в середине XIX века новой ставкой в общественной борьбе. Действительно, в тот момент, когда он [...] был в состоянии сместиться или преобразоваться, или превратиться в революционный дискурс, когда понятию борьбы рас предстояло быть замененным понятием классовой борьбы — и еще, когда я говорю «середина XIX века», это неточно, то была первая половина XIX века, так как подобное преобразование расовой борьбы в классовую было осуществлено [Тьером]7 — в тот, значит, момент, когда происходило это преобразование, было нормально, что с другой стороны были сделаны попытки снова закодировать старую контристорию в терминах теперь уже не классовой, а расовой борьбы, — причем, расы теперь понимаются в биологическом и медицинском смысле слова. Поэтому в тот момент, когда формируется контристория революционного типа, начинает формироваться другая контристория, которая раздавит в биолого-медицинской перспективе представленное в этом дискурсе историческое измерение. Вы увидите, что именно так появляется настоящий расизм. Восприняв, преобразовав, но и извратив форму, направленность и саму функцию дискурса о борьбе рас, этот расизм заменит тему исторической войны — с ее сражениями, нашествиями, грабежами, победами и поражениями — биологической, постэволюционистской темой борьбы за жизнь. Нет больше сражений в военном смысле, а только борьба в биологическом смысле: различие биологических видов, селекция наиболее сильных, сохранение наилучше адаптированных рас и т. д. В то же время тема бинарного общества, разделенного на две расы, две группы, чуждые друг другу из-за языка, права и т. д., заменяется другой темой, темой биологически единого общества. Такому обществу может угрожать некоторое число гетерогенных элементов, но они не существенны для него, они не делят общественный организм, живое общество на две части, они в некотором роде второстепенны. Это будет увязано с идеей проникающих извне иностранцев, с темой отклоняющихся от нормы, составляющих побочный продукт такого общества. Наконец, тема государства, обязательно несправедливого в контристории рас, начинает трансформироваться в другую: государство не является инструментом в борьбе одной расы с другой, а есть и должно быть защитником целостности, превосходства и чистоты расы. Идея чистоты расы со всем тем, что она включает монистического, государственнического и биологического, стремится заменить собой идею борьбы рас.

Когда тема чистоты расы заменяет тему борьбы рас, тогда, я думаю, рождается расизм и начинает происходить преобразование контристории в биологический расизм. Расизм,

таким образом, не случайно связан с антиреволюционным дискурсом и антиреволюционной политикой на Западе; это не просто дополнительное идеологическое сооружение, которое появится в определенный момент в рамках большого антиреволюционного проекта. В момент, когда дискурс борьбы рас трансформировался в революционный дискурс, расизм оказался революционной мыслью, проектом, революционным пророчеством, повернутым в противоположном направлении, хотя происходил из того же самого корня, каким был дискурс борьбы рас. Расизм — это буквально революционный дискурс, но вывернутый наизнанку. Или еще можно было бы сказать так: если дискурс рас, борющихся рас, был оружием, направленным против историко-политического дискурса суверенитета римского типа, дискурс расы (расы в единственном числе) был способом повернуть это оружие, использовать его как нож в интересах законсервированной суверенности государства, блеск и сила которого теперь обеспечиваются не магиго-юридическими ритуалами, а медико-нормализующей техникой. Преобразование осуществлялось путем перехода от закона к норме, от юридического к биологическому; путем перехода от множественности рас к единственности расы; ценой превращения освободительного проекта в заботу о чистоте расы суверенное государство вложило в свою собственную стратегию, приняло в расчет, заново использовало дискурс борьбы рас. Государство сделало из него таким образом императив защиты расы, альтернативу революционному проекту, заслон от этого проекта, который имел истоком старый дискурс борьбы, разоблачений, требований и обещаний. Наконец, я хотел бы добавить еще кое-что. Расизм, конституировавшийся путем преобразования старого дискурса борьбы рас, создавший альтернативу революционному дискурсу, испытал в XX веке также две трансформации. Он появился в конце XIX века как расизм, который можно было бы назвать государственным: это биологический и централизованный расизм. Именно эта форма была если не модифицирована глубоко, то, по крайней мере, преобразована и в таком виде использована в специфических стратегиях в XX веке. Можно в основном выделить две из них. С одной стороны, нацистская трансформация впитала утвердившуюся в конце XIX века идею и практику государственного расизма, стремившегося поддерживать биологическую расу. Но эта форма расизма была перенята и преобразована в регрессивном духе, с тем чтобы ее внедрить в пророческий дискурс, в котором появилась некогда тема борьбы рас. Именно поэтому нацизм стремился использовать народную и почти всю средневековую мифологию, чтобы вписать государственный расизм в идеологическо-мифическую структуру, похожую на идеологемы народной борьбы, которая в данный момент могла служить для обоснования и формулировки идеи расовой борьбы. И именно поэтому государственный расизм в нацистскую эпоху сопровождался множеством элементов и коннотаций, такими, например, как борьба германской расы, временно поработанной победителями, европейскими державами, славянами, униженной Версальским договором и т. д. Он сопровождался также темой возврата героя, героев (пробуждение Фридриха и всех, кто был руководителями и Фюрерами нации); темой возрождения древней войны; веры в рождение нового Рейха, империи наших дней, призванной обеспечить тысячелетний триумф расы и неопровержимо подтвердить неизбежность апокалипсиса и последнего дня. Таково, значит, нацистское преобразование или пересадка, включение государственного расизма в легенду о воюющих расах.

Противоположностью нацистской трансформации является трансформация советского типа, которая осуществила в некотором роде обратное первой: трансформацию не драматическую и театральную, а скрытую, не имеющую легендарной драматургии, зато в больших

масштабах «сциентистскую». Она состояла в повторении и обработке революционного дискурса социальной борьбы, который во многих своих элементах был порождением старого дискурса борьбы рас, в духе полицейского управления, обеспечивающего бесшумную гигиену упорядоченного общества. Если революционный дискурс направлен против классового врага, то расизм Советского государства выступал как борьба против своего рода биологической опасности. Кто теперь классовый враг? Это больной, отклоняющийся от нормы, безумный. Следовательно, оружие, некогда служившее борьбе против классового врага (оружием могла быть война или при случае диалектика и убеждение), теперь преобразуется в медицинскую полицию, которая уничтожает классового врага как врага расы. Итак, мы имеем, с одной стороны, нацистское вписывание государственного расизма в старую легенду о воюющих расах, а с другой — советское вписывание классовой борьбы в немые механизмы государственного расизма. И именно таким образом воинственная песня рас, направленная против лжи законов и королей, песня, породившая в конечном счете первую форму революционного дискурса, стала административной прозой государства, которое защищает себя во имя сохранения чистоты социальной отчизны. Вот слава и позор дискурса о борющихся расах. Я хотел вам показать дискурс, разом отделивший нас от ориентированного на верховную власть историко-юридического сознания и заставивший нас войти в другую форму истории, в другое время, в котором одновременно мечтают и знают, мечтают и понимают, когда вопрос о власти не может быть отделен от вопроса о порабощении, освобождении и независимости. Петрарка спрашивал себя: «Есть ли что-нибудь в истории, что бы не было похвалой Риму?». А мы — и это, конечно, характеризует наше историческое сознание и связано с появлением контристории, мы спрашиваем себя: «Есть ли что-нибудь в истории, что не было бы призывом к революции или страхом перед ней?». Я же просто добавлю к этому: «А если Рим снова победит революцию?». После этих предварительных замечаний я постараюсь, начиная с ближайшей лекции, немного осветить историю дискурса рас в некоторых ее фазах в XVII веке, в начале XIX и в XX веке.

---

Версия #1

Зверобой создал 27 января 2026 04:40:15

Зверобой обновил 27 января 2026 04:41:45